



**Читайте в серии:**

«СЛЕПОТА»

«ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИИСУСА»

«ВОСПОМИНАНИЯ О МОНАСТЫРЕ»

«ПЕРЕБОИ В СМЕРТИ»

«КАМЕННЫЙ ПЛОТ»

«СТРАНСТВИЕ СЛОНА»

«ГОД СМЕРТИ РИКАРДО РЕЙСА»



Жозе  
Сарамаго

ЕВАНГЕЛИЕ  
ОТ ИИСУСА



Москва  
2024

УДК 821.134.3-31  
ББК 84(4Поп)-44  
С20

José Saramago  
O EVANGELHO SEGUNDO JESUS CRISTO

Copyright © Jose Saramago & Editorial Caminho, SA, Lisboa-1991.  
Published by arrangement with Dr. Ray-Gude Mertin, Literarische Agentur,  
Bad Homburg, Germany

Перевод с португальского *Александра Богдановского*

Художественное оформление обложки и карт Таро  
*Витаны Маковской*

**Сарамаго, Жозе.**

С20 Евангелие от Иисуса / Жозе Сарамаго ; [перевод с португальского А. Богдановского]. — Москва : Эксмо, 2024. — 416 с. + 3 карты Таро. — (Таро Сарамаго. Великие романы мастера метафор).

**ISBN 978-5-04-197036-9**

Скандальный роман XX века, критикуемый церковью. Через год после выхода этой книги Жозе Сарамаго получил Нобелевскую премию по литературе. Романы Сарамаго насыщены метафорами. Через них можно познать себя, как и через карты Таро.

Сарамаго, как и Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» или Дэн Браун в «Код да Винчи», переосмысляет евангельский сюжет и рассказывает свою версию произошедшего. Читатель становится незримым свидетелем начала супружеской жизни Марии и Иосифа. Герои юны и не подозревают, что скоро на их пороге появится нищий, который объявит о беременности Марии и оставит после себя чашку со святящейся землей. Что Иосиф окажется повинен в смерти вифлеемских младенцев, и эта вина ляжет тяжелым грузом на плечи его первенца. Что Мария останется одна с девятью детьми, а Иисусу в наследство от отца достанутся лишь сандалии. И, конечно же, никто бы не мог подумать, что Бог и Дьявол окажутся в одной лодке, чтобы открыть Иисусу из Назарета его предназначение...

**УДК 821.134.3-31  
ББК 84(4Поп)-44**

**ISBN 978-5-04-197036-9**

© Богдановский А., перевод на русский язык, 2024  
© Издание на русском языке, оформление.  
ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, — то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, distinguished Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен.

*Евангелие от Луки, 1, 1–4*

Что я написал, то написал.

*Пилат*



У солнца, окруженного острыми тонкими лучами и извилистыми языками пламени, придающими полднечному светилу сходство с ополоумевшей «розой ветров», — человеческое лицо: плачущее, искаженное невыносимой болью, с распяленным в беззвучном крике ртом — беззвучном потому, что ничего этого нет в действительности. Перед нами всего лишь бумага да краска. Ниже мы видим человека: он привязан к стволу дерева и совершенно гол, если не считать обмотанной вокруг бедер тряпки, прикрывающей то, что принято называть срамом; ноги его уперты в обрубок толстой ветви, и, для того, наверно, чтобы не соскользнули с этой природной подпорки, в них глубоко вогнаны два гвоздя. По вдохновенно-страдальческому выражению лица, по устремленному ввысь взгляду можно узнать разбойника Благоразумного. Безобманной приметой может служить и кудрявая голова — ведь у ангелов и архангелов волосы вьются, а раскаявшийся преступник, судя по всему, уже на полпути в Царствие Небесное и к его обитателям. Неизвестно, можно ли счесть этот столб деревом, которое, особым образом изуродовав, превратили в орудие казни, продолжают ли еще его корни высасывать из почвы жизненные соки, а неизвестно потому, что всю нижнюю часть ствола заслоняет от нас длиннородый человек в просторном, пышном и богатом одеянии, голова его вскинута, но смотрит он не на небо. Эта горделивая осанка, этот

печальный лик могут принадлежать только Иосифу Аримафейскому, а вовсе не Симону из Кирены, как можно было бы подумать, поскольку, согласно протоколу экзекуции, сей последний, понужденный помочь преступнику донести орудие казни до места, где совершилась она, потом пошел своей дорогой и гораздо более был озабочен теми неприятными последствиями, которые сулило ему невольное его опоздание, чем смертными муками распятого. Да-да, именно Иосиф из Аримафеи звали того добросердечного и состоятельного человека, что вызвался заплатить за могилу и за погребение в ней главного из троих казненных, но за свое великодушие он не был причислен к лику святых или хотя бы присноблаженных, и потому ничто, кроме чалмы, в которой он в свое время хаживал по улицам, не обвивает его голову, не в пример той склоненной долу женщине на переднем плане, чьи распущенные волосы осены нимбом вечной славы, очень похожим на домодельное кружевце. Эту женщину на коленях, конечно, зовут Мария, потому что нам заранее известно: все женщины, что сойдутся здесь в этот час, носят это имя, и только одну в дальнейшем мы станем называть Магдалиной, чтобы отличить от всех прочих, хотя каждый, кто хоть чуточку осведомлен о самых элементарных житейских понятиях, с первого взгляда и так узнает в ней пресловутую Магдалину, ибо лишь женщина с бурным, как у нее, прошлым решила бы в столь трагическую минуту появиться в платье с таким глубоким вырезом и лифом, до того узким, что пышные округлости приподнятых, открытых и выставленных напоказ грудей неизбежно притягивают к себе жадные взгляды проходящих мимо мужчин, невольно рискующих впасть во грех плотского вожделения и навечно погубить свою душу. Тем не менее лицо ее говорит о глубочайшей скорби, а поникшая фигура — о муке, которую испытывает ее душа, пусть и заключенная в столь соблазнительную телесную оболочку, и потому оговоримся сразу: будь



эта женщина и вовсе нагишом, мы все равно обязаны были бы отнестись к ней со всем мыслимым уважением и почтительностью. Мария Магдалина, если это она, с невыразимым словами состраданием держит и вроде бы собирается поцеловать руку другой женщины, которая простерта на земле, словно лишилась последних сил или ранена насмерть. Ее тоже зовут Мария — вторая в порядке появления и первая, самая что ни на есть первая по значению, если судить по тому, что в нижней части композиции отведено ей самое центральное место. Видны лишь заплаканное лицо и бессильно уроненные руки — все прочее скрыто под бесчисленными складками покрывала и туники, подпоясанной грубой, как можно угадать, веревкой. Она старше первой Марии, и это главная, хоть и не единственная причина того, что вокруг ее головы сияет нимб более сложной и замысловатой формы — о чем, будучи спрошен, я, человек, хоть и не слишком сведущий относительно званий, рангов и иерархии, бытующих в этом мире, все же взял бы на себя смелость заявить. Да и потом, если вспомнить, сколь широко распространились изображения, подобные тому, о котором я веду речь, то лишь инопланетянин — при условии, что на этой иной планете не происходило время от времени или сейчас не происходит впервые нечто схожее, — так вот, лишь этот инопланетянин, существование которого и представить-то себе почти невозможно, не знает, что убитая горем женщина — это вдова плотника Иосифа, произведшая на свет многочисленных детей, из которых по воле судьбы или того, кто этой волей управляет, только один процвел и прославился, причем не слишком — в земной своей жизни и невероятно — по смерти. Склонясь налево, Мария, мать Иисуса, — того самого, о ком только что было упомянуто, — опирается локтем о бедро еще одной женщины: она тоже стоит на коленях, ее тоже зовут Мария, и вот она-то, хоть мы даже в воображении не можем увидеть вырез на ее платье, скорей всего, и есть

истинная Магдалина. Так же, как и у первой из этой троицы, длинные волосы распущены по спине, только у нее они, по всей видимости, белокурые, если, конечно, гравер не по чистой случайности, а намеренно, чтобы обозначить их светлый тон, ослабил нажим своего резца. И потому мы не можем с полной уверенностью утверждать, что Мария Магдалина в самом деле была златовласой, хотя полностью согласны с весьма распространенным мнением о том, будто блондинки, как натуральные, так и крашенные, суть самые совершенные орудия греха и гибели. И Марии Магдалине, великой грешнице, погубившей, как всем известно, свою душу, надлежит быть белокурой, хотя бы для того, чтобы не опровергать представление, к которому волей или неволей склоняется большая часть рода человеческого. Однако мы так настойчиво твердим, что она и есть Магдалина, вовсе не потому, что светлый тон ее волос — довод более весомый, чем тяжелые и щедро открытые груди первой Марии. Есть иное свидетельство, и оно позволяет установить ее личность с полной определенностью: взгляните лишь, как, одной рукой почти машинально поддерживая простертую на земле мать Иисуса, смотрит эта женщина на Распятого и в глазах ее горит такая подлинная, такая пламенная любовь, что кажется, будто и все ее тело, все ее плотское естество окружено сияющим ореолом, рядом с которым тускнеет и блекнет нимб над ее головой — магический круг, не допускающий в очерченные им пределы лишние чувства и мысли. Так может смотреть только женщина, обладающая способностью любить, которой наделяем мы одну Марию Магдалину, — вот вам окончательный и решающий довод в пользу того, что это она и есть, она и никто другой, и, стало быть, нечего и толковать о четвертой Марии, которая стоит рядом с нею, воздев руки и всем видом своим демонстрируя скорбь, но устремив взор неведомо куда. Ей под стать и изображенный в этой части гравюры совсем молодой, едва вышедший из от-

рочества мужчина в манерной позе — левая нога его согнута в колене, а правая аффективно-театральным жестом устремлена к этим четырем женщинам, разыгрывающим на земле драматическое действие. Этот молоденький кудрявый юноша с дрожащими губами — Иоанн. Он, как и Иосиф Аримафейский, заслоняет собой комель другого дерева, на вершину которого, где бы надо быть птичьим гнезду, воздет, привязан и прибит еще один человек. В отличие от первого, волосы у него прямые, голову он опустил, чтобы посмотреть — если еще способен смотреть, — что происходит внизу, и худое, с ввалившимися щеками лицо его так не похоже на лицо его товарища на другом столбе, который и в предсмертном оцепенении, в муках агонии нашел в себе мужество поднять голову, обратить к нам лицо, даже на черно-белой гравюре все еще румяное и полнокровное. Второй же, уронивший голову на грудь, будто всматривающийся в землю, готовую принять свою убогую добычу, дважды обреченный — и на мучительную казнь, и на муки ада, — может быть только Злым разбойником. Признаем, однако, что прямодушный и нелукавый нрав придал ему душевных сил не прикидываться, что он верит, будто минута раскаяния способна искупить целую злодейскую жизнь или хотя бы один час слабости. Над его головой горюет и плачет луна, изображенная в виде женщины с такой неуместной серьгой в ухе, — подобную вольность не допускал раньше ни один художник или поэт, и сомнительно, чтобы, несмотря на этот дурной пример, кто-либо позволил себе впредь. Скорбящие солнце и луна с двух сторон заливают землю ровным, без теней, светом, и потому, должно быть, так отчетливо предстает нам все изображенное на гравюре до самой линии горизонта — башни и крепостные стены, подъемный мост, перекинутый через ров, где поблескивает вода, готические шпицы крыш, и в самой глубине, на вершине последнего холма, — замершие крылья ветряной мельницы. Чуть ближе

гарцуют на вышколенных конях четыре всадника в полном вооружении, но по их жестам можно предположить, что они подросли к концу зрелища и шлют прощальный привет невидимым нам зрителям. Это же впечатление завершившегося праздника производит и фигура пешего латника, который уже делает шаг прочь от места казни, неся в правой руке то, что издали кажется тряпкой, но при ближайшем рассмотрении может оказаться туникой или хитоном; тем временем двое других солдат проявляют, насколько можно судить на таком расстоянии о выражении их крошечных лиц, досаду и даже злость — как те, кому не выпал счастливый жребий. Над этой пошлой обыденностью — над солдатами, над обнесенным стеной городом — парит четверка ангелов, двое из которых, изображенные во всех подробностях, горько плачут и стенают, тогда как деловито насупленный третий занят тем, что старается до последней капли собрать в подставленную чашу кровь, струей бьющую из правой стороны груди Распятого. Здесь, на этом холме, называемом Голгофой, подобная злая участь многих уже постигла, многих еще ждет, но только одного из всех — вот этого обнаженного человека, руки и ноги которого пригвождены к кресту, этого сына Иосифа и Марии по имени Христос, — грядущее удостоит заглавной буквы, все же прочие так навсегда и останутся просто распятыми. Теперь наконец понятно, куда устремлены взгляды Иосифа Аримафейского и Марии Магдалины, кого оплакивают солнце и луна, кому возносит хвалу Благоразумный разбойник и кого хулит его нераскаянный товарищ, не понимая, что ничем не отличается от своего собрата, а если и есть между ними какая-либо разница, то не в том она, что один раскаялся, а второй закоснел в грехе, ибо они оба не существуют сами по себе, каждый из них всего лишь возмещает собой то, что отсутствует в другом. Над головой Распятого ярче солнца и луны горят тысячей лучей буквы латинской надписи, провозглашающей его Царем

Иудейским, лоб и виски стягивает сплетенный из колючих веток венков — его, даже не догадываясь об этом, носят, причем вовсе не обязательно, чтобы хлестала из распоротой плоти кровь, — те, кому не позволяют быть царями себе самим. Иисусу, в отличие от двух разбойников, не во что упереться ногами, и, не напрягай он из последних сил верхнюю половину тела, оно всей тяжестью обвисло бы на руках, прибитых гвоздями к перекладине, но надолго ли еще хватит сил этих, если, как уже было сказано, из раны в груди льется кровь, вымывая из него жизнь. Между двумя укосинами, которые удерживают крест в вертикальном положении и вместе с ним уходят в темное лоно земли, нанося ей, впрочем, рану не смертельной, чем любая человеческая могила, лежит череп, а рядом — лопатка и берцовая кость, но нас интересует именно череп, поскольку это и значит в переводе слово «Голгофа». Неизвестно, кто и зачем положил здесь эти бранные останки. Быть может, кто-то с мрачной иронией предупреждает тех несчастных, что мучаются на кресте, какая участь им уготована, прежде чем они обратятся в землю, в прах, в ничто. Иные утверждают, что это череп самого Адама, который всплыл на поверхность из черной пучины древних геологических пластов и, не в силах вернуться назад, обречен на вечные времена видеть пред собой землю — свой единственно возможный и навсегда потерянный рай. По той же равнине, где, горяча напоследок своих жеребцов, скачут всадники в латах, идет человек: удаляясь от нас, он обернулся на ходу. В левой руке его ведро, в правой — длинная палка с насаженной на нее губкой, которую отсюда, впрочем, почти не разглядеть. В ведре же, ручаюсь вам, — вода с уксусом. Человеку этому отныне и до скончания века суждено быть жертвой клеветы: про него станут распускать вздорные слухи, будто он, когда Иисус попросил пить, по злобе или в насмешку напоил его уксусом. На самом же деле подкисленная уксусом вода в тех краях

издавна и справедливо почиталась лучшим средством утолить жажду, ибо освежает, как мало что другое. Он уходит прочь, он не дожидается конца, ибо, что мог — унял мучительную сушь, терзавшую нутро троих обреченных, не делая различий между Иисусом и разбойниками, поскольку рассуждал просто: все они из земли взяты, в землю и перейдут. Вот и все, что можно будет о них сказать.

Ночи еще долго идти до рассвета. На гвозде у дверного косяка горит масляная плошка, но зыбко подрагивающая миндалина огонька не в силах справиться с мраком, который окружает ее и со всех сторон заполняет комнату, становясь в дальних углах непроницаемо густым и плотным, хоть ножом его режь. Иосиф проснулся, как от толчка, словно кто-то разбудил его, резко тряхнув за плечо, но, наверно, этот толчок был кусочком мгновенно рассеявшегося сна — трясти его было некому, и никого не было в доме, только он да жена, которая спит не шевелясь. Никогда еще не просыпался он среди ночи: обычно он открывал глаза не раньше, чем широкая щель в двери точно набухла и сочилась пепельным холодным светом. Сколько раз он собирался заделать ее — плотнику ничего не стоит приладить да прихватить гвоздями подходящую деревяшку, — но уже так привык, открывая глаза, видеть перед собой вертикальную полоску света, провозвестницу дня, что постепенно ему стало казаться, что без нее нипочем не выбраться из сонной тьмы, сковывавшей и его тело, и мир вокруг. Щель была частью дома, вроде стен или потолка, очага или убитого земляного пола. Вполголоса, чтобы не разбудить спавшую рядом жену, Иосиф произнес слова утренней молитвы, которую должно творить по возвращении из таинственной страны сна: Благодарю Тебя, Господи мой Боже, Царю Небесный, за то, что по милости Твоей возвратил мне душу прежней и живой. Потому, должно быть, что не все пять его чувств очнулись от сна разом — а впрочем, не исключено, что

во времена, о которых мы ведем речь, люди еще не обрели власть над каждым или, напротив, утратили те, что так полезны нам сегодня, — Иосиф, словно из дальней дали, следил за тем, как медленно, постепенно проникает и заполняет все закоулки и изгибы тела возвращающаяся душа, подобно воде, которая растекается по земле извилистыми ручейками и всасывается внутрь, до самых глубоких корней, чтобы потом напитать заключенной в ней жизненной силой стебли и листья. И видя, как трудно это возвращение, Иосиф, поглядев на лежавшую рядом жену, побоялся потревожить ее сон: она являла собой телесную оболочку, лишенную души, ибо та отлетает от спящего, иначе зачем бы надо было возносить ежеутренне хвалу Господу за то, что ежеутренне Он возвращает нам ее при пробуждении, и в этот миг некий голос внутри осведомился: Откуда же тогда берутся наши сны? Быть может, сны — это память души о теле, подумал Иосиф: это и был ответ. В этот миг Мария пошевелилась — видно, душа ее витала где-то неподалеку, в доме, — но не пробудилась, а только глубоко вздохнула, как всхлипнула, и потянулась к мужу, сделав всем телом волнообразное, но бессознательное — ибо в яви никогда бы на него не осмелилась — движение. Иосиф натянул на плечи колючую и шершавую простыню, поудобнее устроился на циновке, не отстраняясь, почувствовал, как настоящее на каких-то ароматах — будто откинули крышку ларца с пахучими травами — тепло постепенно проникает сквозь ткань его рубахи, соединяется с его собственным теплом. Потом, медленно смежив веки, позабыл, о чем думал, и отрешенное от души тело вновь погрузилось в сон.

Разбудил его лишь крик петуха. В щели мерцал мутный свет, сероватый, как вода на водопое. Время, терпеливо и кротко дожидавшееся, когда у Ночи иссякнут силы, теперь готовило поле к приходу утра, как вчера, как всегда, ибо миновали те легендарные дни, когда солнце, которому мы и так уж стольким обязаны, могло оста-